

Симона Черутти

**Микроистория:
социальные отношения против культурных моделей?***

На протяжении 1990-х гг. во многих исследованиях указывалось на наличие в итальянской микроистории двух различных направлений: «социального» подхода и отличного от него подхода «культурного»¹. Утверждалось, что присутствие этих двух направлений проявилось как в серии «Microstoria», выходящей в издательстве Эйнауди в 1980—1992 гг., так и в журнале «Quaderni storici». Тем самым, возникло два типа микроисториков, сосуществующих рядом друг с другом: одни интересовались по большей части *социальной* контекстуализацией исторических объектов, а другие – вписыванием их в *культурный* контекст, выражением и одновременно важной частью которого эти объекты являлись. По мнению Альберто Банти (который, на мой взгляд, первым всерьез озаботился данной проблемой), такое противопоставление впервые проявилось в работе Карло Гинзбурга «Морелли, Фрейд и Шерлок Холмс: улики и научный метод»². Как отмечал Банти, статья эта ясно показала, что хотя оба течения микроистории имеют дело с малыми объектами исследования, эта общая черта у них единственная, поскольку как методы, так и цели у них различны. В статье Гинзбурга, по словам Банти, мы не находим «методологической сосредоточенности на конкретном индивиде и стремления рассмотреть социальную структуру как переплетение различных межчеловеческих отношений [т.е. тех черт, которые Банти считал характерными для работ «социальных» микроисториков, таких как Эдоардо Гренди или Джованни Леви — С.Ч.], но видим скорее изучение фрагментов моделей поведения, позволяющих выявить культурные смыслы, которыми люди прошлого наделяли свою социальную вселенную»³. Банти представлял различие между теми, кто ищет «объяснения» и теми, кто стремится к «интерпретации», как разницу между собаками-ищейками, вынюхивающими трюфели, и парашютистами, спускающимися из поднебесья и имеющими возможность обозревать местность с высоты⁴. Он также утверждал, что

* *Cherutti S. Microhistory: Social Relations versus Cultural Models? / Between Sociology and History. Essays on Microhistory, Collective Action, and Nation-Building / Ed. by A.-M.Castrén, M.Lonkila, M.Peltonen. Helsinki, 2004.*

неспособность четко определить данное различие уже привела к серьезным последствиям, став одним из факторов, из-за которых микроистория повлияла в целом столь мало на итальянское историописание.

Спустя три года после того, как Банти поставил этот диагноз, Эдоардо Гренди — один из основных сторонников «социального» подхода в микроисследованиях — также указал на существование двух направлений в микроистории, кратко обрисовав сложившееся положение дел в яркой, критичной и самокритичной работе об актуальном состоянии микроистории⁵. По мнению Э. Гренди, наличие, по меньшей мере, двух направлений — «социального» и «культурного» — было очевидно с самого начала, хотя граница между ними часто смещалась и вообще оставалась неопределенной. И далее Э. Гренди писал: «Странно, что такая двуликость итальянской микроистории, ясно заметная с самого начала, не положила начала процессу прояснения позиций или, по крайней мере, дискуссии. Как это часто бывает, отказ от высокой цели означает конец коллективного опыта»⁶.

Неспособность четко указать на существование двух направлений в микроистории и неспособность осмыслить это явление привели к многочисленным недоразумениям также у тех, кто наблюдал за развитием итальянской микроистории со стороны. Вот всего один пример. Парадоксально, что несколько представителей ее «социального» крыла удостоились участия в сборнике под названием «Игры с масштабами»⁷, тогда как сторонники «культурного» направления этой чести были лишены. Хотя на самом деле именно эти последние настаивали на обсуждении «проблемы масштаба», полагая, что любой объект исследования создавался постепенно, в разные периоды времени, а потому требует рассмотрения с более близкого или более далекого расстояния. В отличие от них «социально» ориентированная группа микроисториков раз и навсегда остановилась на микро-масштабе исследований, утверждая, что это именно тот уровень анализа, с помощью которого можно изучать явления и феномены различного размера и значения⁸.

В данной статье я хотела бы разобраться во взаимоотношениях между исследованием культурным и исследованием социальным; понять, почему эти два направления часто рассматривались как конкурирующие друг с другом и почему сегодня вроде бы наблюдается сближение интересов представляющих их историков.

Мне думается, что в последние годы «социальные» микроисторики (я буду продолжать использовать этот ярлык просто для удобства) почувствовали необходимость в выстраивании культурного контекста. Эта тенденция проявилась в возникшем у них интересе к интеллектуальной истории. Она заметна, например, по журналу «Quaderni storici», уделявшему в последнее время значительное внимание правовой культуре при Старом порядке, а также «культурам» рынка и обмена. Я намерена использовать и свой собственный опыт изучения правосудия при Старом порядке, в ходе которого мои взгляды, как мне кажется, постепенно менялись. Я намерена попытаться рассмотреть следующие моменты:

1. Я кратко проанализирую взгляды и исходные посылки, лежащие в основе противостояния социальной контекстуализации и контекстуализации культурной;

2. Я особо остановлюсь на определенных слабостях, свойственных, по моему мнению, «социальному» направлению исследований (к которому я причисляю и себя). Если говорить коротко, они заключаются в недооценке многозначности действия и в недостаточно продуманном отношении к историческим источникам. Я попытаюсь показать, что недавние исследования именно этих двух вопросов позволили по-новому взглянуть на проблему культурной контекстуализации.

3. Наконец, я хотела бы высказать несколько соображений относительно того, каких именно исследовательских практик требует такая контекстуализация – особенно в связи с особенностями выстраиваемой историком цепочки документов, а также в связи с различиями, существующими между подобными практиками и культурной контекстуализацией, предлагаемой «культурным» направлением микроистории. Это приводит меня к критике позиции Карло Гинзбурга, поскольку я хочу показать, что мы сможем лучше исследовать глубинные (и скрытые на первый взгляд) смыслы, если не будем отделять анализ культурных моделей от анализа поведения человека, но будем стремиться сочетать их. На самом деле по моему убеждению именно поведение людей объясняет действенность и устойчивость культурных моделей.

Интерпретации микроистории: «социальная» и «культурная»

Начну с прояснения некоторых основных моментов. Необходимо сразу понять, что различия между контекстуализацией социальной и контекстуализацией культурной как исследовательскими практиками в рамках микроистории вовсе не отражают различия основных интересов ее представителей. Сторонники и того, и другого направлений, о которых идет речь, отнюдь не считают, что интересуются мыслями или действиями людей (иными словами, головой или желудком) как таковыми. Наоборот, все они преследуют одни и те же цели. Решение ограничить поле исследования, спустить его до «микро»-уровня и тщательным образом выискивать единичных «действующих лиц» исторических процессов стало реакцией на высокомерие и самонадеянность сторонников этаблированного исторического «здорового смысла», навязывавшего определенные временные масштабы исследования, его границы и понятийный аппарат, что нередко приводило к возникновению грубых анахронизмов. «Имена» действующих лиц (то есть внимание к конкретным личностям, биографии которых были тщательно изучены) и «обстоятельства» (“how”) их социальной деятельности были необходимыми стартовыми позициями для обоих направлений микроистории⁹. Однако, у их представителей наблюдалось расхождение по поводу того, каким образом следует реконструировать представления отдельных «актеров» и как лучше всего выявлять преследовавшиеся ими цели. Кроме того, очевидно не хватало обсуждения этих неявных методологических расхождений. Я постараюсь кратко описать основы подхода, используемого историками «социального» толка.

По мнению «социальных» микроисториков, реконструкция индивидуальных моделей поведения является частью более общего стремления реконструировать различные социальные категории и хронологическую последовательность их возникновения, исходя из конкретного контекстуального анализа. Это является, таким образом, частью понимания общего исторического процесса, в котором поведение человека и культурные модели (т.е. те самые желудки и головы) отнюдь не остаются сферами исследований разных специалистов. Идея заключалась в том, что отслеживание моделей поведения отдельных людей и анализ их индивидуальных социальных отношений или же их политических, экономических или социальных стратегий – это вопрос исследования социального и культурного контекстов *вместе*. Социальные нормы и культурные модели задавались прежде всего переплетениями

взаимных обязательств, ожиданиями людей друг от друга, взаимодействием, доступностью (или, наоборот, недоступностью) ресурсов тем или иным социальным «акторам». По этой причине многие исследователи сознательно стремились избегать раздельного анализа действий людей и их культуры (в том виде, в каком последняя выражена, например, в верованиях), стремились не менять ни масштаб, ни метод анализа при исследовании культуры. Изучая, к примеру, понятие рынка, они старались избегать обычного в таких случаях перехода от обсуждения жизни отдельных индивидов при описании их действий (заключения одного конкретного контракта, одного конкретного брака и т.д.) к исследованию коллективных представлений при изучении культуры (например, идеи рынка, взятой из работ великих мыслителей того времени). Они настаивали на том, что историю идей – в том виде, в каком она присутствует в голове исследователя – нельзя просто так переносить в анализируемый контекст — как это часто делается ради правдоподобного воссоздания *Zeitgeist*'а — духа времени.

Такой метод работы соответствовал одной из основных задач, ставившихся перед собой микроисторией. Ее идея заключалась в том, чтобы уйти от анахронизмов, проистекающих из «принятого исторического здравого смысла», и из не менее опасного искушения воспользоваться категориями, необдуманно взятыми из сферы социальных наук¹⁰. Соответственно, возникала необходимость выстраивать «релевантный» контекст анализа, а не обращаться к предзаданным идеям того, что должно являться «релевантным». Вместо идей, произвольно навязанных исследователем, необходимо стало использовать концепции, вырастающие прямо из «полевого исследования» и скрупулезно выстраиваемые на основе «эгоцентрированного» (ego-centred) анализа социальных моделей поведения отдельных «акторов», задействованных в изучаемых процессах. (Заметим, что выражение «полевое исследование», заимствованное из антропологии, не случайно занимает столь важное место в данной цепочке умозаключений. Ведь основным ориентиром для исследователей в данной области на протяжении многих лет оставалась Манчестерская школа социальной антропологии.)

Я бы добавила сюда еще один момент (по причинам, которые станут понятны чуть позже). Смысл выстраивания исследования вокруг «эго» отдельного человека состоял в том, чтобы задать подходящий контекст анализа – не тот, что был бы взят

из собственных представлений исследователя о мировосприятии людей того времени, но тот, что был бы определен, исходя из опыта самих «актеров» (как его прослеживал исследователь). Однако, что не было принято во внимание в качестве составляющей этого метода, так это точка зрения *самих* действующих лиц, *их* понимание собственного опыта – *их* «версия событий». Разумеется, тут прежде всего требовалось бы проанализировать социальные, экономические и культурные модели, чтобы скорректировать заявления, которые могли делать сами «актеры». Свободу «актеров» и их действия усматривали прежде всего в том, как они манипулировали наличествовавшими социальными нормами¹¹. Возможно, именно эта идея о манипулировании социальными нормами заставляла исследователей с подозрением относиться к собственным заявлениям «актеров». При этом, кажется, подразумевалось, что ради объективного реконструирования культурного «багажа», имевшегося в распоряжении этих людей, и ограничений, налагавшихся на их стратегии поведения, исследователю следовало критически подходить к их собственным версиям событий. Ниже я еще вернусь к этой установке.

Итак, разрыв между микроисториками обозначился по вопросу о весьма тесной связи между *поведением* и разными *культурами*, между социальным выбором, моделью поведения и культурными «ресурсами» людей прошлого. Вот почему, к примеру, «социальная» школа критиковала метод Карло Гинзбурга, использованный им при анализе народной культуры. Эдоардо Гренди отмечал: «Мне не кажется, что Гинзбург особо заинтересован в детальном отыскании точек соприкосновения с «социальными» или же «межличностными» отношениями. Его дискурс остается в пределах форм выражения, сложных взаимоотношений между «высокой» и «низкой» культурой, изучения взаимоотношений и связей между этими «формами» и их ответвлениями»¹². Гренди также отмечал, что «не случайно в предисловии к номеру журнала „Quaderni storici”, посвященному «Семье и сообществу», можно прочесть следующее откровенное заявление: “... общественная жизнь, в которой участвует Меноккио [мельник из книги Гинзбурга «Сыр и Черви» — С.Ч.], т.е. его отношения более чем с десятком друзей и знакомых, упоминаемых в его судебных показаниях, побуждают нас к исследованию сети социальных связей, которую нам необходимо понять, если мы хотим оценить индивидуальный рисунок поведения Меноккио»»¹³. Гинзбург изучает убеждения и верования Меноккио и *benandanti*, оставаясь

преимущественно на уровне интерпретации сознания. Жизнь Меноккио (насколько для историка оказалось возможным ее реконструировать) является всего лишь «трамплином», от которого исследователь может оттолкнуться, чтобы реконструировать сложную космологию фриульского мельника. «Трамплин» — в смысле отправной точки, которую можно оставить позади. Именно поэтому, как мне представляется, неточно говорить о некоей «культурной школе» рядом с некоей «социальной школой» в микроистории. Я полагаю, что различие, существующее между ними, относится не столько к их научным интересам, сколько к вопросу о значении, какое следует придать поведению индивида и социальным отношениям, в ходе общего для обоих направлений стремления выстроить контекст, подходящий для изучения культурных моделей.

Виды контекстуализации

Выполнил ли «социальный» подход свое обещание? Сумели ли его приверженцы сконструировать контекстуальные поля, оказавшиеся и в самом деле подходящими, действительно позволявшими бы избегать анахронизмов? Позволили ли эти созданные контекстуальные поля найти подлинную связь между социальными отношениями и культурными моделями? И, наконец, нашлось ли в самом понимании того, чем является культура, хоть какое-то место для «высокой» культуры или же она представлялась лишней при анализе социальных моделей поведения? Споры по этим вопросам шли не только между микроисториками, но и за пределами их узкого круга, в среде социальных историков в целом. Возьмем, к примеру, одного из наиболее выдающихся историков XX в., Э.П. Томпсона, оказавшего огромное влияние на микроисториков (сборник статей Томпсона был опубликован Э. Гренди в 1981 г. в качестве одного из первых томов серии «Microstorie» издательства Эйнауди). Взаимоотношения между низами общества и культурой, между социальным действием и культурными моделями, между историей идей и историей поведения рассматривались Э.П. Томпсоном таким образом, который ныне представляется мне весьма показательным в плане тех ограничений, которые социальная история сама на себя наложила и которые не давали ей возможности полностью выполнить свои обещания. Парадоксальным образом эти ограничения возникли в результате

суженной трактовки смысла социального действия, потому что такая трактовка, в свою очередь, оказала влияние на характер задаваемых вопросов по поводу отношений между действием, с одной стороны, и культурными и интеллектуальными моделями, с другой.

«Культура», оказавшаяся в центре внимания Томпсона, являлась прежде всего правовой культурой, нормативной культурой обладания правами, которую демонстрировали английские трудящиеся классы в самых разных ситуациях и вокруг которой возникали серьезные конфликты. Исследовательский проект Томпсона очень хорошо известен и чрезвычайно важен. Он пытается изъять различные «народные» обычаи из патерналистского поля патерналистского же «фольклористического» описания и оживить их смысл и цели, о которых позднее забыли и наличие которых вообще отрицалось (речь шла у него о самых разных явлениях, от зерновых бунтов до продажи жен, от анонимных писем до набегов браконьеров). Томпсон изучает системы значений, лежавшие в основе этих различных форм поведения, чтобы «найти пути к постижению структур сознания участников продовольственных бунтов» или же сочинителей анонимных писем, чтобы выявить «сущностные исходные послышки», которыми были движимы люди в XVIII в.¹⁴ Эти сущностные исходные послышки, как полагал Томпсон, могли «выражаться при помощи простейших библейских понятий «любви» и «милосердия» или же словами, «возможно имеющими мало общего с любыми христианскими заповедями, но возникающими из элементарных обменов материальной жизни»¹⁵.

Последняя фраза как раз и демонстрирует то самое понимание культуры, о котором я говорила, — культуры, основанной на практике обменов, когда давление традиции может быть сильным, но может и практически отсутствовать (так что привычка разыскивать воздействие традиций может даже направить историка по ложному пути). Основа чрезвычайно оригинального историко-антропологического исследовательского проекта Томпсона¹⁶ состоит в поиске свидетельств обменов, причем насколько можно более «неопосредованных». Он полагает, что у людей прошлого была определенная правовая культура, источники которой следует искать не в текстах, но в социальном взаимодействии. Историки должны выявить эту культуру и разыскать случаи, в которых она проявилась в наибольшей степени. При этом подразумевается, что народная культура существует, и существуют источники, в

которых эта народная культура находит выражение. Историком следует лишь взяться за их изучение.

Мысль о наличии «неопосредованных» источников, несомненно, интересна. В частности, это из-за нее Эдоардо Гренди счел работу Э.П. Томпсона столь замечательной, и не случайно, что оба ученых работали с одним видом источников, вроде бы соответствовавшим этой характеристике – с анонимными письмами, в которых можно усмотреть «незамутненные» источники (у Томпсона это были письма, публиковавшиеся в «London Gazette» в XVIII в.; у Гренди — письма, направлявшиеся генуэзским властям в XVII в.). Как указывал Гренди, традиция, лежащая в основе этого поиска народных правовых представлений, берет начало от Вико и Блэйка и, прежде всего, конечно же, от Маркса¹⁷. Но она же близка и Савиньи, и братьям Гримм — т.е. традициям исторической школы, занятой поисками источников «народного духа» права¹⁸. Именно из этой интеллектуальной традиции Томпсон заимствует свой центральный тезис о том, что «альтернативные» культуры и культура народа — суть одно и то же, что существует некая связь между низами общества (понимаемыми прежде всего как совокупность социальных групп, отрешенных от участия во власти) и представлениями о справедливости, отличающимися от доминирующих в обществе (иными словами, представлениями, которые нельзя обнаружить в опубликованных текстах, написанных образованными людьми).

При такой постановке вопроса интерес историка к «высокой культуре» несомненно идет на убыль. Когда Томпсон старался понять представления людей XVIII в. о моральной экономике, он все же интересовался тем, формулировались ли подобные идеи в ученых трактатах. Но этот вопрос Томпсон не исследовал сколько-нибудь глубоко, поскольку его основной объяснительной моделью были формы социального обмена, находящиеся под патерналистским контролем, смягченным давлением снизу. В практическом плане Томпсон вполне последовательно отвергает любые возможные ссылки на культуру образованных слоев общества как «потенциально вводящие в заблуждение». При таком подходе социальным историкам вообще нет никакого смысла заниматься исследованием ученых теорий рынков: раз они изучают бунты, мятежи и народную культуру, им следует оставаться в архивах и отслеживать социальные отношения, а также отношения по поводу власти, оставив библиотеки в распоряжении историков мысли.

В основе этого подхода лежит допущение, что модели поведения отдельных людей задаются опытом конкретных групп; что эти модели отражает социальную (классовую) структуру и потому несут в себе динамику культуры данной группы. Такое понимание опыта и моделей поведения, присущее Томпсону, недавно подверглось серьезной критике. Несмотря на провозглашенное им намерение не воспринимать группы как «вещи», но рассматривать их скорее как «процессы», как группы «в процессе становления», его понимание опыта было раскритиковано (и совершенно справедливо, на мой взгляд) как слишком узкое. В конечном счете Томпсон склонен сводить все к производственным отношениям и к социальной иерархии. Действие людей из народа, оказавшееся в центре его внимания, является точным выражением объективно существующих структур власти, совместным опытом, определяемым социальной структурой. Действие вытекает из этой структуры и иерархии — и сводится к ней же. Т.о. контекст, создаваемый Томпсоном, оказывается строго социальным, а культура, принимаемая им во внимание, — исключительно народной культурой¹⁹.

Здесь может создаться впечатление, что в данном пункте микроистория весьма отличается от метода Томпсона и поэтому неуязвима для аналогичной критики. В конце концов, одна из задач, ставившихся в нескольких микроисторических работах (например, в исследованиях по истории рабочего класса начала XX в. или корпораций XVII—XVIII вв.²⁰), состояла как раз в том, чтобы определить, к каким именно группам принадлежали те или иные люди. В этих работах в частности предполагалось путем изучения того, как люди себя вели, выяснить, на чью сторону вставляли индивиды, как они определяли свое социальное пространство. Именно такой преимущественный интерес к принятию членства в группе или классе не как автоматическому, а как задаваемому индивиду извне и конвенциональному, и стал одной из причин проведения «эго-центрированных» исследований и прослеживания биографий людей из народа. Как я уже говорила, в этом и состояла суть наших попыток предложить социальную категоризацию, которая соответствовала бы своему времени, а не была бы анахронизмом.

Однако, эта цель была достигнута лишь частично. Говоря это, я отнюдь не подразумеваю, что какие-то исследования или какие-то отдельные реконструкции оказались более успешными, чем другие; проблема здесь, как мне кажется, коренится

глубже. Тот контекст, который принимался во внимание в таких микроисторических исследованиях, оказался, как и у Томпсона, неадекватным. Этот контекст по-прежнему оставался «внешним», «посторонним» и неподходящим для понимания опыта «акторов». Реконструкция биографий отдельных индивидов сама по себе не давала гарантий выявления их «внутреннего» мировосприятия. В таких исторических реконструкциях применялось понятие «стратегии» со всеми присущими ему коннотациями, подчеркивающими роль рационального выбора и моделей поведения. В последние годы микроисторики часто указывали, что данная концепция приводит к возникновению анахронизмов. Иными словами, методология, разработанная ради выявления контекстуальных полей, релевантных «с точки зрения самих акторов», парадоксальным образом была снижена до уровня значений и понятий, по всей вероятности, совершенно чуждых ментальности людей прошлого. Кроме того, понятие стратегии поведения побуждает историков вести исследование в плоскости, которая остается внешней по отношению к «версии событий» самих «акторов» и проходит «выше» ее. Отслеживание социальных структур и социальных связей (прием, заимствованный из социологии) предполагает такой подход исследователя, при котором историк «раскрывает» акторам те их связи и бывшие в их распоряжении ресурсы, которые и сделали одну модель поведения возможной, а другую — нет. Это объяснение идет «поверх» и помимо сознания акторов, вне всякой зависимости от того, что сами они по этому поводу говорят. Здесь стоит также отметить, что общее направление того или иного действия уже заранее предопределено понятийными рамками «стратегии поведения», поскольку одна из предпосылок такого подхода заключается в том, что индивид манипулирует социальными нормами. Это означает, что противоречия между конкретным действием и существующей социальной нормой ожидаемы изначально и историк специально разыскивает их. В общем итоге оказывается, что, несмотря ни на что, нормы и модели поведения, культура и действие оказываются в разных исследовательских плоскостях²¹.

Нормы и практики

Что до моих собственных работ, то именно разочарование в понятии «стратегии» с присущими ему амбициями и в характере создаваемых им отношений

между исследователем и объектом исследования впервые заставило меня всерьез задуматься над тем, что в действительности представляет собой анализ «изнутри», *эмический* анализ, основанный на языке и логике самих «акторов»²². Метод, которым я воспользовалась при реконструкции биографий конкретных людей, не давал никакой гарантии постижения их собственного внутреннего мира. Однако, по мере продвижения работы я смогла сформулировать новое понимание своего объекта исследования – т.е. поведения, действий отдельных индивидов. Сфера моих интересов охватывала т.н. «малые» формы правосудия при Старом порядке. Правосудие, естественно, всегда находилось в центре внимания социальных историков и в особенности Томпсона, который очень во многом определил мое видение проблемы. Однако именно в этом вопросе я определенно отхожу от него и большинства социальных историков. Как мне представляется, из изучавшихся мной судебных дел (незначительные гражданские иски, по большей части связанные с кредитами и товарообменом) яснее всего вытекает то, что поведение людей прошлого, зафиксированное в подобных источниках, нельзя рассматривать как отражение общественной структуры. Действия людей не столько раскрывают объективно действующие нормы, сколько выражают некие претензии, намерения и предложения. Соответственно под таким углом зрения следует рассматривать не одни лишь мятежи и бунты, но также заключение контрактов, продажи и различные споры, которыми заполнены страницы судебных документов. Все они вовсе не являются просто воспроизведением отношений господства и подчинения, но представляют собой активные претензии на определенные права и требования эти права легитимировать. Действия людей, зафиксированные в источниках, не столько выявляют структуру общества, сколько передают *представления* людей о том, какие формы этой социальной структуре *следовало бы* принять (или же отражают их попытки согласовать эти свои представления между собой) и стратегии, с помощью которых они легитимируют этот свой выбор.

Столь творческий характер действия индивида был вскормлен в обществе Старого порядка особой культурой – культурой судопроизводства, придавшей действию силу менять условия осуществления правосудия, распределять и закреплять различные роли и права²³. Решающим в судебном споре было чаще всего не владение формальным правом собственности, но положение *de facto* – хорошее знакомство с

объектом тяжбы и факт постоянного его использования. На статус человека в большей степени влияло не то, обладал ли он формально той или иной должностью, тем или иным положением, но то, как он себя держал. В этом смысле действия отдельного индивида не являются ни «выражением латентного смысла»²⁴, т.е. воспроизведением возведенных где-то социальных конструкций, ни отражением навязанных извне норм. Действия представляют собой то, при помощи чего *выстраиваются* социальные структуры, мотивировки, логики и нормы существования. Но еще и то, что *легитимирует* эти самые структуры, мотивировки, логики и нормы. В самом действии уже имплицитно включено представление и о том, как можно изменить ход вещей, и о том, какими путями можно легитимировать те или иные положения. При таком взгляде на вещи отношение между практикой и нормами изменяется самым радикальным образом.

Такое соединение культуры Старого порядка с теориями действия, предложенное некоторыми социологами и этнометодологами²⁵, весьма продуктивно, хотя и парадоксально. Этот взгляд позволил некоторым историкам внести существенный вклад в общегуманитарное обсуждение характера отношений между практиками и нормами, а также того, правомерно ли понимать поведение как готовность автоматически следовать норме (дискуссия о том, что представляет собой «следование правилу»)²⁶. Однако, стоит лишь нам признать за действием такой творческий характер, мы уже не можем согласиться с тем, что связь между социальной структурой, действием и культурой малосущественна и носит чисто механический характер. Если продолжить разговор о праве, то из моих источников ясно следует, что определенный набор представлений о справедливости можно обнаружить во всех социальных группах. Например, понимание различия между естественным правом и правом позитивным может быть проявлено в разных ситуациях то купцами, то юристами, а то и рабочими. Возможность прибегнуть к одной из таких систем легитимации во многих случаях зависела не столько от общего социального статуса человека, сколько от индивидуальных особенностей его положения (например, проживал ли он уже в данном городе официально, или же он туда недавно переехал, каково было занимаемое им на тот момент положение на рынке и т.д.). При этом мы не находим связи между теми или иными правовыми культурами и теми или иными слоями общества с их особыми интересами и особым

опытом. Скорее уж такую связь можно усмотреть между отдельными индивидами, которых связали друг с другом общие цели. Например (как продемонстрировала Рената Аго в своем исследовании бунтов, сходным с работой Томпсона о моральной экономике), крестьяне области Лацио в XVIII в., выступая в роли потребителей, могли говорить на языке моральной экономики и естественного права, но оказываясь в роли продавцов, могли говорить языком голой прибыли²⁷. Нет ничего автоматического или неотрефлексированного ни в самом действии, ни в стратегиях, используемых для его легитимации. Социальный мир – иными словами мир действий – это мир интерпретаций. Действие невозможно отделить от его интерпретации.

Отсюда вытекает, что для реконструкции многообразия представлений о справедливости, сосуществовавших в обществе Старого порядка, необязательно (и, вероятно, даже неуместно) выискивать «неопосредованные» источники, т.е. источники, относительно «незамутненные» и свободные от воздействия тех или иных институций. Как и любое человеческое действие, источники, которыми пользуется историк, часто (хотя и не всегда) представляют собой документы, которые не столько *описывают* нечто, сколько *выдвигают претензии* на нечто. Нотариальные акты, петиции, судебные дела, карты выдвигают претензии на те или иные права. Даже вроде бы столь нейтральные источники как демографические документы, являются по сути дела претензиями на определенную юрисдикцию²⁸. Источник повествует нам об объекте исследования, тоже являясь, как отмечал Марк Блок, неким нарративом²⁹. Конечно, последнее справедливо не просто потому, что любой источник написан в каком-то определенном литературном жанре. Куда серьезнее усложняет дело то, что источники содержат в себе претензии на истину и легитимность: в них проделана некоторая интеллектуальная работа по определению критериев того, что является «правильным» и что «законным», и в то же время в них использованы приемы выстраивания легитимности (к таким приемам относятся не только аргументация и риторические ходы, но также обмены, взаимоотношения, предметы — поскольку, как мы знаем, выстраивание легитимности осуществляется с помощью не одних лишь слов).

Если мы принимаем такой взгляд на источники, нам необходимо сформулировать ряд вопросов относительно используемых нами источников, например: «Какие претензии на легитимацию здесь выражены?», «К кому обращены

эти претензии?» и «Каким именно образом?». И следует ли обратиться с данными вопросами к «неопосредованным» источникам или же, скорее, к источникам, которые выглядят опосредованными (и, вероятно, являются таковыми)? Тут-то мне и кажется, что заниматься поиском «незамутненного» источника, как это делали и Томпсон, и Гренди, не столь уж разумно. Осознание того, что в источнике уже заложена определенная легитимация, оказалось, как мне кажется, совершенно чуждо социальному направлению микроистории (представленному, в частности, Эдоардо Гренди). Тот подход, за который я выступаю, предполагает другой уровень авторитарности и другую дистанцию от объекта исследований, чем те, что традиционно приняты в среде «социальных» микроисториков. При таком подходе необходимо, пользуясь словами Люка Болтански, «не игнорировать иллюзий акторов». Исследование, таким образом, состоит не в исправлении версий этих «акторов», или же в раскрытии им самим такой реальности, о которой они, как предполагается, не имели представления (то есть, объективных условий, определявших их действия). Скорее оно должно стараться сделать их действия и аргументы понятными, приемлемыми и обоснованными. То есть, в ходе исследования следует, говоря словами того же Болтански, «отнестись к людям всерьез» — принять во внимание их действия и намерения³⁰. Это как раз то, что и предполагает *эмический* подход.

Именно такой подход пробудил у многих социальных историков (в частности, у меня) новый интерес к культуре и сознанию — тем сторонам прошлого, которым ранее они уделяли мало внимания. Чтобы обосновать свои аргументы и предложения, точно так же как и действия, актерам требовалось пустить в дело свое знание об обществе и свои трактовки его, а кроме того задействовать материальные и культурные ресурсы. При таком подходе библиотека перестает быть ресурсом, который социальный историк хотя и использует для своих личных исследований, но который остается за пределами его исследовательского поля. Она становится составным элементом социального исследования — вместе со «стратегиями поведения», «объектами», «экономическим выбором», «выбором брачного партнера» и т.п. Таким образом, хотя они того или нет, но собакам-ищейкам и парашютистам — социальным историкам и историкам мысли — необходимо объединиться.

Понимание культуры, возникающее при таком подходе, — это понимание ее как «оперативной», если воспользоваться термином Ренаты Аго³¹. Это культура, которая часто оказывается спрятанной за выражениями и указаниями, которым не придается особого значения, но которые, тем не менее, проявляются в действиях, фиксируемых архивными документами. В последних номерах «Quaderni storici», посвященных сюжету, к которому микроистория по традиции относилась с подозрением, т.е. праву, мы находим такие высказывания, как «женщины — купцы и схоласты» или «судьи и бэкониианцы»³². Эти сочетания слов представляют собой провокационную, но вполне искреннюю попытку многоуровневого осмысления прошлого — попытку выстроить и культурный и интеллектуальный контексты одновременно, которые являлись бы при этом «локальными». Названия отдельных выпусков журнала говорят сами за себя: «Права собственности», «Формы гражданства», «Судебные процедуры» и т.д.³³ Мысль, стоящая за этой логикой, состоит в том, что именно право задавало язык контекстуализации, получивший широчайшее распространение при Старом порядке — своего рода «антропологию Европы раннего Нового времени», как его однажды назвали³⁴. Итак, цель попытки, предпринятой в этих выпусках Quaderni storici (в одних случаях более успешной, в других — менее), была двоякой. Во-первых, это была попытка исследовать правовую культуру (и, следовательно, нормативную систему, в ученых трактатах чрезвычайно формализованную) и понять, как она использовалась в том или ином определенном контексте, в конкретных «локальных» ситуациях — т.е. понять, как мужчины и женщины использовали собственные правовые представления как в своих эксплицитных претензиях на те или иные права, так и в более общем плане, в ходе своего повседневного взаимодействия с вещами, людьми и собственностью. Здесь предполагается постоянно задаваться вопросом, почему данный конкретный человек в каждом отдельном случае избирает именно данную правовую традицию, а не какую-то другую, или почему он объединяет вместе две различные традиции. Во-вторых, раз признав, что между официальными нормами и социальной практикой существует взаимовлияние, мы уже не можем считать, будто правовая традиция является ресурсом, хоть и подвергающимся манипулированию, но тем не менее представляющим собой некую «данность», зафиксированную в юридических текстах. Предписания действуют лишь по мере того, как «сами социальные практики

претендуют на то, чтобы их принимали в качестве легитимированных» — в каждой «локальной» ситуации, — т.е. в совершенно конкретной ситуации «конструирования смысла». При таком подходе изучение норм оказывается частью изучения социальных связей³⁵. Отношения между нормами и практиками представляются взаимонаправленными: и нормы, и практики оказывают влияние друг на друга. Поле легитимации оказывается шире, чем просто поле законности; и во многих случаях именно из первого черпаются определения того, что является законным. То, что эти отношения взаимосвязаны и взаимозависимы, имеет очень большое научное и политическое значение.

Точка зрения «актора»

В формулировании обоих этих подходов содержится скрытая критика по отношению к работам моих коллег. Так, второе утверждение о необходимости учитывать способность социальных практик становиться «прецедентами» (и, тем самым, в некоторых юридических системах правом) — позволяет мне дистанцироваться от исследований, фокусирующих внимание на процессах легитимации, которую я рассматриваю как комбинирование и сведение воедино разнообразных элементов из разных интеллектуально познаваемых культурных традиций. Я говорю здесь в особенности о работах Люка Болтански. Моими взглядами я во многом обязана его исследованиям, но мне также доводилось выступать и с критикой его подхода³⁶. Согласно концепции Болтански формулировки, используемые отдельными индивидами для обоснования своих аргументов, берутся ими из ограниченного списка базовых текстов, которые Болтански называет создающими социальную связь (таким образом Болтански здесь оригинальным способом перекидывает мостик к истории мысли). Иными словами, контекст легитимации остается внешним по отношению к действию: источники, используемые исследователем, являются внешними свидетельствами. Моя критика такого подхода к изучению прошлого заключается в том, что он оказывается деперсонализированным, неточным и, в конечном счете возвращающим к пониманию культуры как результата консенсуса. Однако, легитимация достигается отнюдь не всеобщим согласием — как раз на этом поле конкуренция и конфликты часто бывают

совершенно яростными. Целые культурные системы исчезли из памяти людей и были де-легитимированы. Если мы не хотим свести то, что совершали люди прошлого к простым упражнениям в «бриколаже» — соединению вместе различных заимствованных традиций — и если мы стремимся избежать понимания легитимации как результата консенсуса, нам необходимо сосредоточить внимание на процессах, в ходе которых как раз и создаются как нормы, так и их обоснование, а также исследовать пути их взаимодействия.

Тут необходимо также изучить процессы отбора, которому подвергаются интеллектуальные традиции в данное время и в данном месте. Здесь я перехожу к критике историков, самым тонким образом занимающихся выявлением культурного контекста того или иного явления, чрезвычайно внимательных к наличию в то время множества культурных традиций и отчетливо сознающих, что существовала проблема выбора из нескольких таких различных традиций — и тем не менее, на мой взгляд, не уделяющих должного внимания тому, каким именно способом осуществлялся этот выбор. Я говорю здесь о том представителе «культурного» направления микроистории, на работы которого уже ссылалась — о Карло Гинзбурге. Гинзбург с замечательным постоянством следовал одному методу анализа, представленному у него как в конкретно-исторических работах, так и в методологических и историографических исследованиях³⁷. Ниже я остановлюсь подробно на некоторых гипотезах, лежащих в основе его последних работ. Позволю себе предположить, что простое разделение исторических исследований на культурные и социальные, которое и в прошлом-то на самом деле не было слишком уместным, сегодня уже совершенно не подходит для описания различий между исследовательскими методами, существующими внутри микроистории, не говоря уже о новых возможностях конвергенции между ними. Эти различия касаются отношения, которое историк устанавливает между собой и объектом своего изучения — во-первых, в том, что касается степени доминирования исследователя над его объектом и в том, откуда историк берет категориальный аппарат для своего анализа. Иными словами, это проблема соотношения между *эмическим* подходом и *этическим*. Но я хотела бы подчеркнуть, что дело не в предпочтении какого-то одного из этих двух методов другому, как часто бывает при обычном противопоставлении точек зрения, не в том, чтобы провозгласить единственно

обоснованным эмическое измерение. Проблема глубже, и я бы сформулировала ее следующим образом. Что такое «внутренний» метод исследования и где он может быть применен? Можно ли считать принятие во внимание точки зрения «актеров» методом, применимым только для анализа непосредственного контекста его поведения, или же это метод, который можно (и должно) также использовать, когда объект исследований оказывается шире и включает в себя культурные и нормативные модели, которые вдохновляют этих «актеров» и выражением которых сами же они и являются? Иными словами, являются ли *эмическое* и *этическое* двумя методами одного исследования, на чем бы я настаивала, или же они представляют собой два разных *контекста*? (Один из них — более непосредственный контекст, в котором осуществляется поведение людей, использующих определенные культурные модели, а второй – более отдаленный и глубинный, в котором прослеживается история самих этих моделей.)

Полагаю, что именно второй подход, в соответствии с которым *эмическое* и *этическое* оказываются разными контекстами, в рамках которых ведется само исследование, имплицитно используется Карло Гинзбургом в большей части его работ. Исследования Гинзбурга строятся весьма последовательно на ряде вполне определенных исходных посылок. Во-первых, чтобы понять любой социальный феномен, необходимо исследовать ряд контекстов, поскольку все объекты исследования многослойны, будучи составлены из совокупности элементов, уходящих корнями на ту или иную глубину в прошлое. Во-вторых, работа по изучению этих различных временных глубин подчинена цели реконструирования живого «опыта». Поскольку для Гинзбурга этот последний «не означает сознательного опыта или же опыта, оставившего след в документах», следует принимать во внимание и бессознательную сторону опыта³⁸. В-третьих (данное положение связано с предыдущим), необходимо применять при исследовании то один, то другой масштаб, так меняя фокус исследования, чтобы достичь критической дистанции, позволяющей установить связь между элементами, о которых сами действующие лица не имели представления, но которые, тем не менее, определяли характер их опыта. Эти три основных положения и определяют «цепочку документального обоснования» в работах Карло Гинзбурга, движущегося от определенного документа к выявлению все более широких полей контекстов,

пригодных для изучения этого документа. Определение же того, что представляют собой эти пригодные для исследования поля контекстов, осуществляется способом, который можно назвать концентрическим - это постепенный переход от смысла, который вкладывали в рассматриваемый феномен сами «акторы», к наиболее отдаленному и неожиданному его значению, которое им не было известно, но восстанавливается на основе сопоставлений. Не вопреки отдаленности, но благодаря ей³⁹. Этот последний уровень исследования рассматривается как самый важный; предполагается, что подлинный смысл действий и верований людей прошлого раскрывается именно на нем. Перри Андерсон утверждал (на мой взгляд, справедливо), что для Гинзбурга «чем глубже лежит нечто, тем значительнее оно должно являться»⁴⁰. Гинзбург использовал свой исследовательский метод весьма последовательно (причем в более поздних работах еще последовательнее, чем раньше), начиная с «Ночной истории» и заканчивая исследованиями по политической иконографии. Этот метод действует в конечном счете путем использования эффекта сродни *spaesamento* – дезориентации, которую мы испытываем, оказавшись в чужой стране. У нас возникает ощущение чуда, когда мы оказываемся лицом к лицу с системами представлений и контекстов, абсолютно чуждых сознанию (сознанию «актеров», сознанию исследователя и сознанию читателя, которого приглашают разделить это ощущение открытия⁴¹). Самое глубокое, совершенное невообразимое прошлое незримо оказывается за одним столом с нами.

Дистанцирование и сравнение

Неудовлетворенность такой методикой анализа возникает у меня не из-за того, что историк должен открыто декларировать свое дистанцирование от объекта исследования. Если в чем-то Гинзбург сумел меня убедить, то это, в частности, в вопросе об эффективности дистанцирования и об огромном потенциале сопоставлений. Таким образом, моя критика исходит вовсе не из предвзятого мнения. Скорее, я возражаю против того, что для такого дистанцирования не задано достаточно ясных правил или методик реализации. Это относится и к принципам проведения исследования, и к пониманию того, что представляет собой «цепочка документального обоснования».

После того как завершено определение первого, непосредственного, круга контекстуализации, действия и верования конкретных индивидов начинают помещаться в некий культурный контекст, широта и значимость которого определяется исключительно познаниями исследователя. Процесс опоры на документы здесь, таким образом, прерывается, и культурный контекст фиксируется только тогда, когда сам исследователь решает остановиться. Когда начальная стадия анализа непосредственного контекста закончена, ничто в самом объекте исследования уже не может наложить каких бы то ни было ограничений на то, в каком направлении пожелает двигаться исследователь, а научное сообщество оказывается не в состоянии проверить правильность выполненного им отбора. Таким образом, например, переход от знаменитого плаката 1914 г., с которого лорд Китченер призывал молодых британцев идти в армию, к пассажу из «Естественной истории» Плиния Старшего об изображениях Минервы и Александра Великого осуществляется путем, всецело определяемым самим автором (в данном случае – путем открытого диалога с Аби Варбургом⁴²). Разные кусочки этой мозаики, призванные создавать отношения дистанцирования и отчужденности друг от друга, чтобы в итоге «выявить» неожиданные связи и параллели, оказываются в результате соединены в едином поле исследования и отобраны самим автором. Предмет исследования настраивает автора на поиски его наиболее аутентичного (или, по крайней мере, самого глубинного) смысла, но он не может заставить автора остановиться и не в состоянии противоречить ему. То же самое, мне кажется, относится и к читателю.

Повторяю, мне представляется сомнительным в этом методе отнюдь не то, что исследователь постепенно все больше и больше отходит от объекта исследования. Еще меньше меня беспокоит использование сопоставлений (измерение, которое можно назвать *этическим*). Что же вызывает сомнения, так это принижение значения контекстуального и социального анализа. Последний признается годным лишь для выявления способов использования «актерами» своих представлений и верований, тогда как проблема их «происхождения» отодвигается в сторону, и действительное изучение этих культурных артефактов проводится в плоскости, которая выводит самих действующих лиц за пределы конкретного места, исторического периода и т.п. Разделение этих двух уровней исследования выражено совершенно ясно и определено заранее⁴³. Процедура отстранения, вызывающая удивление и «дезориентацию», столь

богатая скрытыми герменевтическими смыслами, может иметь место и на том же уровне, что и выявление непосредственного контекста, если исследователи обратят внимание на интенсивную работу, которую проводят люди прошлого по отбору тех или иных образов и идей и которая определяет, почему именно данный конкретный образ, данное верование, а не какие-нибудь иные дошли до нас в данном архивном документе. В результате усилий «акторов» по осуществлению такого отбора происходят изменения и в изучаемой культурной традиции.

Предлагаемый мною подход предполагает «принимать во внимание удивление самих действующих лиц истории»⁴⁴, а не желание возбудить удивление по отношению к ним. Иными словами необходимо учитывать то, как они производят такой отбор из имеющихся в их распоряжении культурных традиций, в результате которого одной традиции предстоит выжить, а другой — нет. Процесс такого выбора позволяет определить «контролируемый» культурный контекст — контролируемый не в том смысле, что его следует ограничить узкими хронологическими (подход, за который я ратую, позволяет обращаться к самым древним культурным традициям), но в том смысле, что его уместность определяется не одним лишь исследователем, но линиями поведения самих «акторов». Документация, привлекаемая при таком подходе, не выстраивается по концентрическим кругам и вдоль центробежных линий (т.е. не начинается от самих «акторов», отходя затем все дальше и дальше от них, следуя путями, определяемыми особенностями эрудиции исследователя). Он выстраивается на основе взаимоотношений, которые «акторы» сами устанавливали с интересующей нас традицией, с тем или иным текстом, с изучаемым нами верованием. Обоснование такого подхода заключается в том, что культура не является чем-то просто унаследованным, она представляет собой еще и результат постоянного творчества. Иными словами, тот путь документирования исследования, о котором я говорю, это путь *эмический*, заданный представлениями самих «акторов». *Эмическое* — это именно *метод* исторического анализа, а не непосредственный *контекст* поведения людей прошлого. Как мне представляется теперь, понимание именно этой особенности и определяет наиболее существенное отличие между двумя видами исторических исследований, обозначаемыми как социальный и культурный.

Любой исследовательский метод – это, помимо прочего, способ осуществления контроля за возможными интерпретациями. И подобно всякому иному способу контроля, он налагает ограничения на изучение слишком отдаленных и не связанных друг с другом исторических контекстов. Однако, наложение таких ограничений сопровождается и предоставлением существенных, на мой взгляд, преимуществ. Первое из них заключается в том, что разрывается порочный логический круг, при котором пределы исследования могут определяться только самим же исследованием. Поясню, что здесь имеется в виду. Методика «раскрытия» скрытого смысла очевидно предполагает, что сами действующие лица не осознают всей глубины происхождения их собственного опыта. Это неведение воспринимается исследователем как данность, поскольку нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть ее; исследователь не предпринимает попыток проследить работу по творческому отбору, проделанную «актерами». Но такое предполагаемое неведение становится основанием для весьма далеко заходящей мысли о том, что наше прошлое действует помимо и вне рамок нашей памяти и намерений. Выходит, мифы умеют думать. При указанном исследовательском подходе такой вывод оказывается неизбежным.

Вторым преимуществом метода, за который я выступаю, является то, что он позволяет историку открывать новые объекты исследования, которые возникли в конкретное время и в конкретном месте, и таким образом открывать культурные традиции, не оформленные ни одним текстом, ни древним, ни современным, и чей генезис можно понять, лишь изучив взаимоотношения между действием и его легитимацией, между культурами и поведением, между головой и желудком. Как я уже говорила, это вопрос скорее о возможности самому «испытать удивление», нежели о том, чтобы «удивлять» людей прошлого, открывая им то, чего они, как считается, знать не могли.

Недавно я сама столкнулась с подобной ситуацией создания одной культурной традиции в ходе процесса выбора, притом процесса вполне «локального», т.е. жестко привязанного к своему времени и определенному месту. Это была ситуация, которую можно было исследовать и понять не столько при помощи детального анализа не столько высказываний действующих лиц или созданных ими текстов, сколько действий конкретных мужчин и женщин, действительно предпринятых ими в

судебных инстанциях одного города при Старом порядке⁴⁵. Упрощенная процедура рассмотрения дел, принятая во многих судах того времени, была относительно недорогой, но прежде всего она не предполагала соблюдения особых формальностей. Присутствие в суде адвокатов было не обязательно (а следовательно, не были обязательными и их выступления), а потому рассмотрение дела основывалось полностью на заявлениях сторон. Стороны излагали свои претензии, подробно разъясняя свои действия – продажу, покупку, заем – легитимность которых зависела не от соответствия их какому-либо закону, но, скорее, от того, что они производились с общего взаимного согласия, «без каких-либо конфликтов». Это был способ, легитимирующий частные социальные практики в качестве источников права. Это была «над-локальная» форма правосудия, предоставлявшая возможность купцам и другим странствующим лицам (но также таким социально незащищенным людям, как вдовы и несовершеннолетние) рассчитывать на справедливое судебное решение, основанное на легитимации, вытекающей скорее из их собственных незамысловатых действий, нежели из знания ими местных законов и обычаев). У такого способа разрешения конфликтов древние корни, поскольку он восходит к схоластическим представлениям о естественном праве и теории «практического разума», разработанной Фомой Аквинским. Чтобы понять, как действовало такое право и, шире, какими представлениями о праве руководствовались люди на протяжении большей части раннего Нового времени, очевидно необходимо было проследить вспять эту традицию. Однако, этого оказалось вовсе недостаточно. Конечно, люди обращались к этой традиции как к источнику легитимации своих действий и судебных требований, но эти же самые действия и требования создавали контекст, в котором эта традиция переформулировалась, воссоздавалась заново и трансформировалась.

Детальное изучение функционирования всей системы правосудия и отдельных судебных дел, выявление интересов (притом не только экономических) сторон (включая присутствовавшую на заседании публику, адвокатов и судей) – все эти шаги были необходимы для понимания не только того, как использовалась данная культурная традиция, но и того, как она создавалась заново. Отличительной чертой данного материала оказалось на деле то, что схоластическое понимание естественного права переплеталось в нем с концепциями, заимствованными из таких

культурных традиций, какие историку правовой мысли показались бы совершенно невозможными. Контекст, в котором упрощенное судопроизводство вновь стало популярным, состоял таким образом в критике формализма, присущей обычной судебной процедуре, критике особенно яростной в Пьемонте в изучаемое мною время. Традиция естественного права была, таким образом, использована как противовес по отношению к формализации закона и правосудия и ко всему тому, что воспринималось в качестве чрезмерного усиления власти адвокатов и судей. В то же время, однако, использовалась и другая традиция, явно несовместимая с первой – бэкониянская традиция эмпирического подхода, которая в юридической сфере выражалась в отрицании априорного восприятия юридических доктрин и в упоре на важность эмпирического расследования всей специфики конкретного судебного дела. В результате совершенно неожиданно обнаружилось, что схоластическая мысль и бэкониянский эмпирический подход сосуществовали вместе, создавая своеобразную «культурную традицию», о самом наличии которой не мог и подумать ни один автор книг по истории правовой мысли. Стремление многих людей представить свои дела в суде и разрешить споры через процедуру арбитража, а также широкое недовольство формализмом юридических процедур (которое разделяли даже некоторые правоведы) — все это составило тот специфический политический и социальный контекст, который и привел к возникновению особой культурной традиции. Заметим, что это не было ни манипулированием уже имевшимися ресурсами, ни простым сведением вместе идей, придуманных другими, своего рода «бриколажем». Взаимодействие и взаимное переплетение действий отдельных людей и разных способов их легитимации произвели на свет вполне самобытную культурную форму.

Это исследование представляется мне вкладом в микроисторический проект по созданию культурной и интеллектуальной истории прошлого, нацеленной на изучение единичного или локального. Такой истории, в которой не устанавливается априори дистанция между головой и телом, где главную роль играет «удивление», вызываемое у историка осознанием исключительного богатства творческих возможностей людей прошлого, ставших предметом его изучения.

*Перевод с английского Игоря Данилова и
Михаила Бойцова*

¹ Данная статья – первая веха в исследовании, которое я веду в последние годы и которое относится к принципам составления и бытования исторических документов. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою признательность Джованни Леви и Карло Гинзбургу за огромное интеллектуальное влияние, которое они на меня оказали, а также воздать должное памяти Эдоардо Гренди.

² *Ginzburg C. Morelli, Freud and Sherlock Holmes. Clues and Scientific Method // History Workshop. 1980. № 9. P. 5–36.*

³ *Banti A.M. Storie e microstorie: L'histoire sociale contemporaine en Italie // Genèses. 1991. № 3. P. 131–146.*

⁴ Сравнение собак-ищеек с парашютистами взято из знаменитой статьи Лоренса Стоуна: *Stone L. The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History // Past and Present. 1979. № 85. P. 3–24.*

⁵ *Grenzi E. Ripensare la microstoria? // Quaderni storici. 1994. № 29(2). P. 539–549* (русский перевод: *Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1996. Вып. 1. М., 1997. С. 291–302*). В том же номере “*Quaderni storici*” были опубликованы еще две статьи по микроистории: *Ginzburg C. Microstoria: due o tre cose che so di lei* (русский перевод: *Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207–235*) и *Revel J. Microanalisi e costruzione del sociale* (русский перевод: *Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального // Там же. С. 236–261*).

⁶ *Grenzi E. Op. cit. P. 548.*

⁷ *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience / Textes rassemblés et présentés par J.Revel. P., 1996.*

⁸ См., например: *Rosental P.-A. Construire le ‘macro’ par le ‘micro’: Frederik Barth et la ‘microstoria’ // Jeux d'échelles. P. 141–159.*

⁹ *Ginzburg C., Poni C. Il nome e il come: scambio inegale e mercato storiografico // Quaderni storici. 1979. № 40. P. 181–190.* Английский перевод: *Ginzburg C., Poni C. The Name and the Game: Unequal Exchange and the Historiographic Marketplace // Microhistory and the Lost Peoples of Europe / Ed. by E.Muir and G.Ruggiero. Baltimore; L., 1991. P. 1–10.*

¹⁰ *Thompson E.P. Anthropology and the Discipline of Historical Context // Midland History. 1972. № 1(3). P. 41–55.*

¹¹ *Cerutti S. Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition // Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale / Ed. par B. Lepetit. P., 1995. P. 127–149.*

¹² *Grenzi E. Op. cit. P. 547.*

¹³ *Ibidem. P. 541.*

¹⁴ *Thompson E.P. Customs in Common. L., 1991. P. 350; Grenzi E. E.P.Thompson e la ‘cultura plebea’ // Quaderni storici. 1994. № 29(1). P. 235–248, здесь P. 241.*

¹⁵ *Thompson E.P. Customs in Common. P. 350; Grenzi E. E.P.Thompson e la ‘cultura plebea’. P. 241.*

¹⁶ Об особенностях исследовательского проекта Э.Томпсона см.: *Grenzi E. E.P.Thompson e la ‘cultura plebea’; Thompson E.P. Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento. Torino, 1981. P. VII–XXXVI.*

¹⁷ *Grenzi E. E.P.Thompson e la ‘cultura plebea’. P. 241.*

¹⁸ Об исторической школе права: *Assier-Andrieu L. Le droit dans les sociétés humaines. P., 1996. P. 188 и далее.*

¹⁹ E.P.Thompson. *Critical Perspectives / Ed. by H.J.Kaye, K. McClellan. Philadelphia, 1990.* В этом сборнике см. прежде всего статью: *Sewell W.H.Jr. How Classes Are Made: Critical Reflections on E.P.Thompson's Theory of Working Class Formation.* См. также: *Cerutti S. Processus et expérience: individus, groupes et identités a Turin au XVII^e siècle // Jeux d'échelles. P. 161–186.*

²⁰ *Gribaudo M. Itinéraires ouvriers. Espaces et groupes sociaux a Turin au début du XX^e siècle. P., 1997; Cerutti S. La ville et les métiers. Naissance d'un langage corporatif (Turin, 17^e-18^e siècles). P., 1990.*

²¹ *Cerutti S. Normes et pratiques.*

²² Термины «эмический» и «этический» были предложены лингвистом Кеннетом Пайком и образованы от суффиксов слов “*phonetic*” (фонетический) и “*phonemic*” (фонемический). В антропологии они обозначают два разных исследовательских метода. *Эмический* подход основан на понятиях и языке, которыми оперируют сами «акторы». *Этический* подход основан на категориях, присущих исследователю (*Pike K. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior. Glendale, 1954–1960*). Первым, кто обратил мое внимание на это различие, был Карло Гинзбург. О спорах по данному вопросу среди антропологов см.: *Harris M. History and Significance of the Emic/Etic Distinction // Annual Review of Anthropology. 1976. № 5. P. 329–350.*

²³ См., в частности: *Costa P. Iurisditio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100–1433). Milan, 1969; Grossi P. L'ordine giuridico medievale. Bari, 2000; Torre A. Il consumo di devozioni. Religione comunità nelle campagne dell'Ancien Régime. Venezia, 1995.*

²⁴ *Ogier A. Décrire ou expliquer: notes sur une mauvaise querelle de méthode // Décrire: un impératif? Description, explication, interprétation en sciences sociales / Ed. par W.Ackermann et al. P., 1985. P. 78–100.*

²⁵ Я имею в виду работы Харолда Гарфинкеля и Харви Сакса. См., например: *Garfinkel H., Sacks H. On Formal Structures of Practical Actions // Theoretical Sociology / Ed. by J.Kinney MC, E.Tyriakin. N.Y., 1970. P. 160–193.*

²⁶ См.: *Cotterau A.* Justice et injustice ordinaire sur les lieux de travail d'après les audiences prud'homales (1806—1866) // *Mouvement Social*. 1987. № 141. P. 25–59. *Idem.* Théories de l'action et notion de travail. Notes sur quelques difficultés et quelques perspectives // *Sociologie du travail*. 1994. № 94. P. 73–89 (с важными соображениями по поводу парадокса «следовать правилу», сформулированного Витгенштейном). См. также специальный номер “L'économie conventions” журнала “*Revue économique*”. 1989. Т. 40. № 2; специальный номер “Les conventions” журнала “*Réseaux*”. 1993. № 62 (nov.-dec.). Понятие “raisons pratiques” появилось в самом начале XIX в. и касалось отношений между действием и легитимацией. См. выпуски журнала “*Raisons pratiques*”, издаваемого Школой высших исследований по социальным наукам (EHESS, Paris), особенно № 1 (1990) “Les formes de l'action” и № 3 (1992) “Pouvoir et légitimité”.

²⁷ *Ago R.* Popolo e papi. La crisi del sistema annorario // *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell'Ottocento*. Milano, 1985.

²⁸ *Loza C.B.* De la classification des Indiens à la réfutation en justice (Yucay, Andes péruviennes, circa 1493-1574) // *Histoire et Mesure*. 1997. Т. 12. № 3–4. P. 361–386. Об исторических источниках и содержащихся в них претензиях на легитимацию см.: *Erudizione e fonti. Storiografie della rivendicazione* / Ed. E.Artifoni, A.Torre (Quaderni storici. 1996. № 31(3)); *Torre A.* Op. cit.

²⁹ *Bloch M.* Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien. P., 1993 (русский перевод: *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973, второе издание: 1986).

³⁰ *Boltanski L.* L'amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l'action. P., 1990. См. также: *Disputes au village chinois. Formes du juste et recompositions locales des espaces normatifs* / Ed. par I.Thireau, W.Hanssheng. P., 2001.

³¹ *Ago R.* Ruoli familiari e statuto giuridico // *Quaderni storici*. № 30(1). P. 111–133.

³² *Ibidem.* P. 128; *Cerutti S.* Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, XVIII secolo). Milano, 2003.

³³ *Quaderni storici*. 1995. № 88(1); № 88(2); 1999. № 101(2).

³⁴ *Clavero B.* Historia y antropologia. Por una epistemologia del derecho moderno // *Seminario e historia del derecho y derecho privado. Nuevas técnicas de investigación* / Ed. by J.Cerdà y Ruiz-Funes, P. Salvador Coderch. Barcelona, 1985. P. 9–36; *Hespahna A.M.* Panorama histórico da cultura jurídica europea. Lisboa, 1999 (2 ed.).

³⁵ *Quéré L.* Le tournant descriptif en sociologie // *Current Sociology*. 1992. № 40(1). P. 139–165.

³⁶ *Cerutti S.* Pragmatique et histoire. Ce dont les sociologues sont capables // *Annales ESC*. 1991. № 46(6). P. 1437–1445.

³⁷ Из недавних работ см.: *Ginzburg C.* Wooden Eyes. Nine Reflections on Distance. N.Y., 2001 (итальянское издание: *Idem.* Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza. Milano, 1998); *Idem.* No Island is an Island. Four Glances at English Literature in a World Perspective. N.Y., 2000; *Idem.* History, Rhetoric, and Proof. Hannover; L., 1999.

³⁸ При этнографических описаниях (неважно, сделанных ли на основе прямых наблюдений или же реконструкций) погребальных ритуалов различие между этими двумя уровнями остается неясным. Поэтому столь важной оказывается роль сопоставления: «Путем сопоставления возможно в принципе реконструировать точное значение происходившего, и оно будет не менее аутентичным, нежели то, что содержалось в живом опыте. Это последнее не исчезло ни из опыта сознания, ни из того опыта, что оставил свой след в документах» (*Ginzburg C.* Saccheggì rituali. Premessa a una ricerca in corso // *Quaderni storici*. 1987. № 22(2). P. 615–636, здесь P. 630).

³⁹ В последние годы Гинзбург уделял значительное внимание аналитическим возможностям дистанцирования от объекта исследования: *Ginzburg C.* Ecstasies. Deciphering the Witches' Sabbath. L., 1990 (итальянское издание: *Idem.* Storia notturna. Una decifrazione del sabba. Torino, 1989). Особенно см.: *Idem.* Wooden Eyes.

⁴⁰ *Anderson P.* Nocturnal Enquiry: Carlo Ginzburg // *Anderson P.* A Zone of Engagement. L., 1992. P. 207–229, здесь P. 223: «Если и существует отличительная черта, объединяющая все разнообразные работы Гинзбурга, то она заключается в следующем: чем глубже что-то лежит, тем более значительным оно должно быть». Для подтверждения этого заявления Андерсон приводит цитату из Селина, обнаруженную им в самом начале книги «Сыр и черви»: «Все интересное протекает в тени». Первый вариант статьи Андерсона был опубликован по-итальянски в журнале “*Micromega*” (1991. № 3) вместе с ответом Гинзбурга, который лишь подтвердил интерпретацию Андерсона, сославшись на поговорку «Смысл вещей никогда не лежит на поверхности» (*Ginzburg C.* Buone vecchie cose o cattive cose nuove // *Micromega*. 1991. № 3. P. 225–229).

⁴¹ *Ginzburg C.* Wooden Eyes.

⁴² *Ginzburg C.* ‘Your Country Needs You’: a Case Study in Political Iconography // *History Workshop Journal*. 2001. Autumn. P. 1–22.

⁴³ Не возникает ли здесь переключки с рассуждениями Марка Блока об «идоле истоков» или же об «эмбриогенетическом наваждении»? (*Bloch M.* Op. cit.)

⁴⁴ *Boltanski L.* Op. cit.

⁴⁵ *Cerutti S.* Giustizia sommaria.